

тальных смогли расхватать лежавшие там пистолеты. Красномордый открыл было рот крикнуть «Тревога!» — открыть-то открыл, да не крикнул. А не крикнул потому, что не успел: кинжал, вонзившийся чуть повыше латного нашейника, взрезал капралу глотку от уха до уха. А когда он повалился наземь, я бросил ненужные более котомки и с кинжалом в зубах очень проворно устремился к мосту, тогда как вышепоманутая девица в чепце — тут прямо надо сказать, что и чепец свой она уже сбросила, да и к девицам ровно никакого отношения не имела, будучи пареньком моего примерно возраста и отзываясь на имя Хайме Корреас, — рванулась туда же с другой стороны. Намеревались мы какими-нибудь деревяшками заstopорить шкивы и блоки, обрубить тросы и в намерении своем преуспели.

И за свою историю не видал и не ведал еще Аудкерк такого пробуждения — четверо с пистолетами и один с «Аве, Мария», как стая демонов, понеслись по бастиону, огнем и железом сметая отсюда все живое. А к тому времени, когда мы с моим напарником привели в негодность механизм подъемного устройства и соскользнули по цепям вниз, от дамы уже доносился глухой гул: это полтора испанцев, которые ночь провели по пояс в воде, теперь выскочили на сушу с криками «Сантьяго! Сантьяго! Испания и Сантьяго!», твердо намеренные согреться кровью и огнем, полезли на земляной вал, ринулись по перемычке к подъемному мосту и крепостным воротам, вскочили на бастион и, наводя ужас на голландцев, метавшихся из стороны в сторону, как ополоумевшие гуси, ворвались в городок, круша все на своем пути.

Теперь в исторических трудах взятие Аудкерка называют не иначе как резней, уподобляя пресловутой furia española — испанской ярости, явленной в Антверпене, и утверждают, будто в то утро Картаженский полк действовал с беспримерной жестокостью. Что ж... Мне ли о этом не знать: я там был и все видел своими глазами. Да, поначалу было смертоубийство, или, если угодно, резня, и пошады не давали никому. А не скажете ли, как еще полтора сотням атакующих взять укрепленный голландский город с гарнизоном в семьсот человек? Только ужас внезапного и беспощадного штурма может сразу и навсегда сломить сопротивление еретиков — и наши применили эту методу со всей тщательностью, присущей истинным и закаленным в боях мастерам своего дела. И вот, дабы вселить панику в ряды обороняющихся и вынудить их к сдаче, наш полковой командир дон Педро де ла Амба приказал крошить с первых мгновений штурма как можно больше народу и не смей грабить город, пока не одержана победа полная и несомненная. Так что подробности позволить опустить. Скажу лишь, что в этом крошечном аду закладывало уши от грохота выстрелов, от криков, от лязга стали, и ни один голландец старше пятнадцати лет, попавшийся нам под руку при начале дела, сопротивлялся ли он, славился или спасался бегством, живым не ушел и, стало быть, об этом не рассказать.

И дон Педро рассчитал верно. Паника, обуявшая защитников города, стала нашим главным союзником, отчего и потеряли мы всего человек десять-двенадцать

пускался на поток и разорение, а в алчности и жажде наживы каждый наш солдат стоил десятерых, тогда как в бахвальстве — сотни. Ну вот, и поскольку Аудкерк не капитулировал — губернатора в первые же минуты застрелили, а бургомистра вздернули на дверях собственного дома, — хоть и достался нам, можно сказать, малой кровью, то и не потребовалось особых церемоний для того, чтобы испанцы, выбрав дома поприглядней — а других в городе и не было, — принялись тащить оттуда все, что под руку подвернулось. Это иной раз приводило к прискорбным происшествиям, ибо аудкеркские обыватели, как поступили бы на их месте и всякие другие, противились подобному бесчинству, добром со своим добром расставаться не желали, а потому, чтоб отдавать свои вещички, увещевать многих пришлось шпашгой. И вскоре заполнились улицы солдатами, которые в дыму и пламени пожаров сновали взад-вперед, нагруженные разнообразнейшим скарбом. Зрелище не радовало глаз — содранные занавески, в щепки разнесенная мебель, раздетые, разутые трупы, и нога оскальзывается в темных лужах крови на мостовой, и собаки эту кровь лакают. Сами понимае́те.

Что касается безобразий по женской части, то их не было, ну или по крайней мере, они не поощрялись. Более того — возбранились. Равно как и стремление напиться допьяна, поскольку оба порока действуют разлагающе на самое дисциплинированное войнство. Наш главнокомандующий дон Амбросио Спинала, не собираясь настраивать против себя гражданское население, которое мало того, что обдерут и зарежут, так еще и на законных основаниях изнасилуют, поставил вопрос остро — уж куда острее: гляди, не обрежешься — и отдал соответствующий приказ. И накануне штурма для вящей доходчивости, для пушей наглядности, в назидание и для острастки повесил двоих-троих солдат, уличенных в том, что позволили себе по отношению к женщинам лишнее. Видать, осведомлен был генерал о несовершенстве человеческой природы — ведь даже в команде Господа нашего Иисуса Христа, даром что он сам же ее и набирал, один его предал, другой от него отпекся, а третий ему не поверил. И в данном случае примерное наказание, завинтив по превентиву — тыфу, наоборот! — превентивно завинтив гайки, произвело должное впечатление на личный состав и действие возымело: за исключением одного-единственного случая насилия — неизбежного, согласимся, когда солдатия распалена легкой победой и богатой добычей, — за которое виновный вздернут был ад hoc, добродетель фламандских женщин, какова бы она ни была, осталась нетронутой и урону не понесла. До поры до времени.

Ратуша до самого флюгера была объята пламенем. Мы шли с Хайме Корреасом, радуясь, во-первых, тому, что уцелели, а во-вторых — что на радость всем и каждому, кроме, разумеется, голландцев, с честью выполнили возложенное на нас поручение. В котомки мои, подобранные после боя и до сих пор липкие от крови светлосусого часового, сложили мы кой-какие трофеи: столовое серебро, несколько золотых монет, шеп, снятую с шеи убитого горожанина, и два превосходных, совсем новых металлических кувшина. Спутник мой шеголял в очень красивом шлеме с перьями, зашивавшем прежде голову какого-то англичанина, которому теперь не на что было его надевать, а в брошенном доме, где мы с Хайме пошарили в свое удовольствие, я разглядел роскошным колотом из красного бархата, расшитого серебром. Вместе с напарником моим, тоже состоявшим в пажах — только я у Диего Алапристе, а он у прапорщика Кото, — мы испытали столько лишений и передраг, что с полным правом считали друг друга добрыми товарищами. Богатые трофеи вкупе с наградой, которую обещал ему наш капитан дон Кармело Брагадо, если трюк с переодетым сойдет гладко и удастся провести часовых у подъемного моста, несколько примиряли Корреаса с тем, что пришлось оскорбиться девчоночьим обликом — ничего не поделаешь, мы бросили жребий, и навлять юбку пришлось ему. Ну а я, к тому времени уже твердо решивший в положенный законом срок пойти в солдаты, пребывал в полнейшем упоении, столь свойственном юности, и голова моя блаженно кружилась от запаха пороха, возмывавшего славу, приключения и прочие восторги. Вот, черт возьми, как воспринимает войну человек, когда лет ему ровно столько, сколько строчек в сонете, и по милости божественной Фортуны сам он становится не жертвой — ибо Фландрия со всеми своими фламандцами была для меня чужбиной, — но свидетелем. А по-рой — и скороспелым палачом. Впрочем, я, кажется, прежде уже говорил вам, господа, пусть и по другому случаю, что такие тогда были времена: жизнь человеческая, да хоть бы и своя собственная, стоила дешевле кука закаленного стали, призанного эту самую жизнь оборвать. Лихие были времена. Трудные, тяжкие, жестокие.

Ну, стало быть, добрались мы до муниципальной площади и остановились поглазеть на пылающую ратушу и трупы англичан — много было среди них белокурых,

рыжеватых и веснушчатых, — раздетых донага и сваленных кучей у дверей. Мимо сновали, таща добычу, испанцы. По овечьи сбившись в кучу под бдительным приглядом наших до зубов вооруженных однополчан, стояли перепутанные горожане, большей частью женщины, старики и дети, взрослых мужчин было мало. Помню какого-то паренка наших с Хайме лет, взвизгавшего на нас с утробным лобопытством. Помню бледных женщин — под белыми чепсами прятались светлые волосы, широко открытые светлые глаза с ужасом следили за испанцами: эти вымазанные кровью, грязью, илом, пропахшие пороховым дымом смуглые чужаки, хоть ростом и уступали фламандцам, были густосусы, крепконоги, одеты в железо и кожу. Мушкет на плече, шпага в руке. Никогда не забуду, с какой ненавистью и страхом тогда и потом, здесь и повсюду люди глядели на пропыленных ошестивенных сталью оборванцев, которые входили в их города, маршировали мимо их домов и, когда молчали, казались еще опасней, чем когда горлачили, и нищета не помехой была их гордыне, ибо, как писал Бартоломе Торрес Наарро:

*Мы одолеем злого врага,
Запомним крепко: на войне
Солдата руки стоят дорого,
А деньги — вовсе не в цене.*

Мы были козырной картой его католического величества — доблестной королевской пехотой. Все пошло на войну добровольно, кто за славой, кто за деньгами; были среди нас люди порядочные, были —

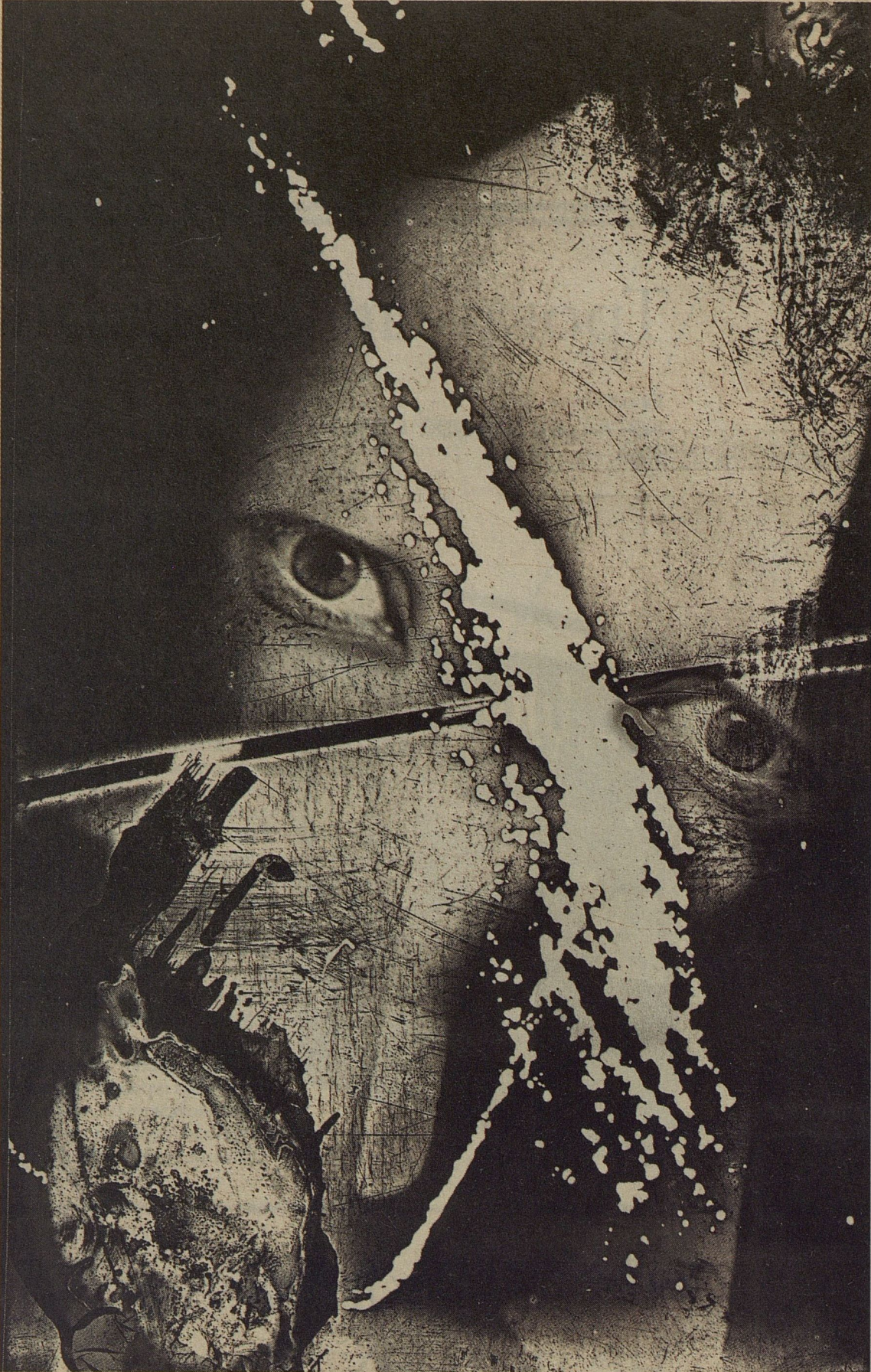
*А не крикнул потому,
что не успел: кинжал,
вонзившийся чуть
повыше латного нашей-
ника, взрезал капралу
глотку от уха до уха*

и в немалом количестве — отъявленный сброд, отребье, подонки, жаждавшие грабежа и добычи и собладовавшие железную дисциплину исключительно в бою, под огнем неприятеля. Бестрепетные и грозные даже в час поражения, испанцы два столетия криду поставляли лучших в Европе солдат, являя собой могучую и безотказную военную машину, не знавшую себе равных на полях сражений. Впрочем, к тому времени, о котором я толкую, — когда завершилась эпоха великих сражений, когда все шире стала распространяться артиллерия, когда боевые действия во Фландрии свелись, главным образом, к долгим осадам, к подведению мин и сидению в траншеях, — пехота наша уже отчасти утратила свойства того великодушного войнства, которое явно имел в виду — и держал в уме — Филипп Второй, сочиняя свое знаменитое письмо послу испанского двора при Святом Престоле:

«Я не желаю быть и не буду властелином еретиков. И если вопреки моему желанию не удастся уладить дело миром, то я преисполнен решимости взяться за оружие и не остановлюсь ни перед опасностью, грозящей мне, ни перед разорением держав, враждебных Испании, равно как и союзных им, ибо нет таких препонов, которые не одолел бы, прохояща все поприще, христианский и богобоязненный государь».

Так оно все, черт возьми, и было. После долгих десятилетий грызни едва ли не со всем светом, грызни, ничего путного нам не принесшей, оставалось Испании только посылать свои полки умирать на поля сражений, подобные Рокруа, где, оберегая за наименьшим лучшим былою славу, гибли мы утробом, «возводя багнии и стены из собственных тел», как с восхищением писал француз Боссюэ. И до самого конца с нами дрались было — что с тигром целоваться. И пусть даже наши солдаты и генералы были уже не те, что при герцоге Альбе или при Александре Фарнесе, все равно — испанцы долго еще оставались для всей Европы кошмаром. Не они ли взяли в плен французского короля при Павии, разгромили врага при Сен-Кантене, разграбили Рим и Антверпен, овладели Амьеном и Остенде, перебили десять тысяч врагов при взятии Хеммитаге, восемь — при осаде Маастрихта и девять — в деле при Экло, причем тогда дрались врукопашную, стоя по пояс в воде. Бич Божий, гнев Господень. И с первого взгляда становилось понятно, почему наше корявое хмурое войнство, нагрянувшее из выжженных солнцем южных краев, сражалось на враждебной чужбине, где отступать было некуда, а поражение означало уничтожение. Одних привело сюда желание славы, других — намерение покончить с нищетой и голодом, так что известная песенка из «Дон Кихота» была будто про них писана:

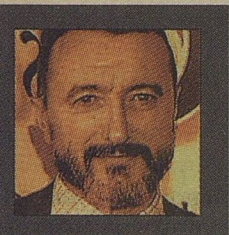
*В полымя да из огня
Рывус не за медали:
Были б деньги — здесь меня
Только б и видали.
Или такие вот старинные и красноречивые стихи:
Коль денег нет, седлай — и в стремена!
Дерись и в ус не дуй, как говорится.
Раздвинутся Кастилии зранити
Пред грудью боевого скакуна.*



АРТУРО ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ

Испанская ярость

Только в «Известиях» и впервые на русском языке читателю представляют новый бестселлер знаменитого испанца Артуро Переса-Реверте «Испанская ярость». Перес-Реверте, автор более десятка романов, среди которых культовые — «Учитель фехтования», «Фламандская доска», «Клуб Дюма», «Кожа да барабана», признан одним из самых популярных писателей этого десятилетия. Его герои живут в Испании XVII века — они старше современники Д'Артаньяна и трех мушкетеров, а сама книга — фактически предыстория легендарной книги Дюма. Полностью «Испанская ярость» выйдет в середине марта в издательстве ЭКСМО.



Arturo Pérez-Reverte родился 24 ноября 1951 года в Картагене (Испания). В юности увлекался подводным плаванием, потом — яхтенным спортом. В 1970-х годах он работал на танкере-нефетеперевозчике, потом занялся журналистикой. В качестве военного корреспондента ежедневной газеты «Пуэбло» побывал в Западной Сахаре и Экваториальной Гвинее. Дважды был объявлен пропавшим без вести — в Сахаре в 1975 году и в Эритрее в 1977-м. Работал военным телекорреспондентом на RTVE, вел репортажи с Кипра, из Эль-Сальвадора, Никарагуа, Чада, Ливана, Судана, Мозамбика, Анголы, из Персидского залива и Боснии. Его первая книга, «El Húsar», вышла в 1986 году, однако внимание публики привлек роман «Учитель фехтования», вышедший двумя годами позже. Настоящая слава пришла к писателю после выхода «Фламандской доски» в 1990 году, отмеченной во Франции Гран-при как лучший детектив. За ней уже последовали «Клуб Дюма, или Тень Ршеле», «Кожа да барабана, или Севильское приключение», «Территория команчей», «Капитан Алатристе», «Морская карта».

Черт возьми, знали бы вы, как промозгло и сыро на берегу голландского канала ранним осенним утром. Солнце, еле-еле пробиваясь сквозь завесу тумана над плотиною, льет слабый свет на тех, кто шагает по дороге к городским воротам, которые скоро откроются и выпустят торговцев, приехавших на рынок. Только слава, что солнце — невидимое, не греющее, недостойное своего имени; впрочем, так им, еретикам, и надо. И в его мутном, сером свете, бессильном справиться с хмарью и моросью, чуть виднеются запряженные в телегу волы, крестьяне с корзинами, женщины в белых чепцах, с крутами сыра и кувшинами молока.

Стиснув зубы, чтоб не клацали от стужи, перекинув через плечо связанные вместе котомки, медленно шел по дороге и я. Земляную насыпь у дамбы туман окутывал так плотно, что очертания деревьев, кустов, тротника едва угадывались. Да, почудилось на миг, будто там тускло блеснул металл шлема, или кирасы, или обнаженного клинка, но говорю же — только на миг, а потом влажные испарения, клубившиеся над водой, снова все скрыли. Девушка, шагавшая рядом, должно быть, тоже что-то заметила, ибо из-под сборок накрахмаленного чепша метнула тревожный взгляд сперва на меня, а потом туда, где, серые на сером, темнели фигуры в касках и алебардах — голландские часовые, охранявшие подъемный мост.

Небольшой городок, именовавшийся Аудкерком, стоял в точке соединения канала Остер, реки Мерк и дельты Мааса. Городок был мал да удал, и значение имел чисто военное, поскольку закрывал доступ к этому окаянному каналу, по которому мятежные еретики переправляли подкрепления своим соотечественникам, сидевшим в осажденной крепости Бреда в трех лигах отсюда. Гарнизон Аудкерка состоял из горожан-ополченцев и двух рот регулярной пехоты, причем одна была укомплектована англичанами. Укреплен был городок весьма прочно, главные ворота защищены бастионом и рвом, через который переброшен был подъемный мост, так что с налету не возьмешь. Именно по этой причине я в столь ранний час и находился здесь.

Полагаю, вы меня если не узнали, так вспомнили. Звался я — и сейчас зовусь — Иньиго Бальбоа, в ту пору исполнилось мне четырнадцать лет, и скажу не хвалясь, что, несмотря на юные годы, я уже повидал кое-какие виды. После весьма опасных приключений в Мадриде, откуда правил нами государь наш Филипп Четвертый; после того, как пришлось мне орудовать и клинком, и пистолетом; после того, как я чудом не попал на костер, — так вот, после всего этого я уже год находился в действующей армии, состоя при капитане Алатристе: наш Картаженский полк, морем перепробенный в Геную, двинут был через Милан по так называемому Испанскому тракту воевать с мятежными голландцами. Минута без возврата эпоха великих полководцев, грандиозных битв и не менее грандиозных грабежей. Ныне война превратилась в некое подобие скучной и долгой шахматной партии: крепости и плацдармы по несколько раз переходили из рук в руки, а доблесть зачастую значила меньше, нежели терпение.

И рядом с девицей в чепце, наполовину скрывавшем лицо, шел я в тумане к городским воротам и голландским часовым, а вокруг мчались вола, гоготали гуси, скрипели телеги, шагали крестьяне. И один из этих крестьян, примечательный тем лишь разве, что был, пожалуй, смугловат для здешних мест, где народ, как на подбор, белобрысый и светлоглазый, поравнялся со мной и, сквозь зубы бормотнув нечто похожее на «Аве, Мария», прибавил шаг, догоняя четверых своих товарищей — тоже что-то больно сухопарых да чернявых.

И, стало быть, почти одновременно все мы, то есть четверо передовых, один замыкающий, девица в чепце и я, грешный, оказались перед часовыми на подъемном мосту. Было их двое — толстый багрово-рожий капрал в черном плаще и второй, с пыльными светлыми усами, я его запомнил очень хорошо: он что-то сказал по-голландски крестьянчине — надо думать, комплимент отвесил — и сам же первый захохотал. Однако смех его в тот же миг и оборвался, ибо тощий крестьянин — тот самый, что приветствовал меня «Аве, Мария» — новость откуда взявшимся кинжалом полоснул солдата по горлу, и толстая струя крови забрызгала мои котомки: я только что развязал их, чтобы четверо ос-

*После того, как пришлось
мне орудовать и клинком,
и пистолетом; после
того, как я чудом
не попал на костер, —
так вот, после всего
этого я уже год находился
в действующей армии,
состоя при капитане
Алатристе*

убитыми и ранеными. Согласитесь, черт возьми, это сущие пустяки по сравнению с двумя сотнями лютеран, которых похоронили на следующий день, так что Аудкерк достался нам, можно сказать, почти даром. Выразаясь военным языком, основной очаг сопротивления обнаружился в ратуше, где человек двадцать англичан успели занять оборону. Кто их, спрашивается, звал сюда, англичан этих, ставших на сторону мятежников после того, как его величество отказался выдать свою сестру, инфанту Марию, за принца Уэльского? Зачем было встречать им не в свое дело? И какая была печаль чужих быков случать? Так что когда первые испанцы с окровавленными клинками ворвались на площадь, а надменные островитяне встретили их с балкона ратуши мушкетным залпом, наши почли это горчайшей обидой. И, натащив пакли, пороха и смолы, подожгли здание муниципалитета вместе с засевавшими там англичанами, а те, кто успевал — если успевал — выскочить наружу, попадали из огня если не в полымя, так под огонь.

Потом, как водится, начался грабег. По стародавнему военному обычаю город, не принявший условий сдачи и взятый с бою,